

-Мне ничего не надо. У меня все есть. — Бахметьев сунул в форточку выцветшую ладонь. — К шести обернешься?

Клацнула дверь, и Марина выходит в волглую темноту. Метель обездвижила двор: полость почившей «Волги» набила снегом, не скупилась на остов горки и кособокую карусель. Мечутся в окнах тени, и праздник длится: там, в долгожданном похмельном сне, год как будто не наступил еще. А значит, и поезд назавтра квелый, осоловелый: расплетет слова постоялец плацкарты, зазвучит небылицей, разбухшими новостями.

Марина по чьим-то следам ступает и вязнет, вязнет. Мигают вдалеке облезлые ларьки — там встретит ее знакомая продавщица. Вон она — в дутой куртке;

шмыгает мимо пахучих ящичков. Товар размяк; согдится, впрочем, для последнего застолья. Для хваткого запоздалого покупателя. Всучить бы его той курносой, рассеянной женщине, что приходит сюда каждый божий, когда нет рейса. Что приходит сюда с глянцевитым пакетом, напичканным доверху пачками, и читает с листа про цитрусы и хурму, шелушащийся лук и подмерзшую сегодняшнюю зелень.

— И картофеля, будьте добры, килограмм: чтобы суп погуще, водянистый он есть не будет.

Теперь Марине в обратный путь. Снедь дотащить до раззявленного подъезда, до плотного, приземистого жилища; кулек распотрошить, взглядеться в глазок горелки, окликнуть человека в соседней комнате.

* * *

* * *

Режим Бахметьева дребезжит. Телевизор пылает остатками торжества, и сливается день в монотонную громкую песню. А он привык к удобоваримым, выверенным порциям. До полудня — обливание из ведерка. Теплая гречка с солоноватым маслом. И вести бегут светливым фоном. Урвать из прошлого в полудреме. Прильнуть к обоям льняного цвета, прижавшись коленями к животу. До смутных сумерек — потоптаться в унылом сквере (триста шагов туда и обратно триста), покормить дворнягу за гаражами. Выудить сигаретку со дна кармана. Заглянуть в жухлый справочник. Полоски чека — под стеклом утрамбовать. Сканворд обмозговать. Что еще? Дать отмашку, чтоб погасила свет. И проверила запертую входную.

Прилежности ей не занимать вроде бы. Бережливости. И все-таки сбоит. Недотягивает. Грезит. Как в детстве: уж выбегать пора, и ранец набитый суешь, торопишь, а она ботинок один напялила и сидит у окна, вагоны шумные считает. Как будто в той слипшейся, тусклой листве можно было хоть что-нибудь разглядеть.

Вот Ларка: от звонка до звонка кружилась. Едва от тарелки глаза поднимешь — ее уж нет. А к тревожной вечерней программе — была как штык. Всегда являлась, о себе предупреждая: сначала брэнчала в замочной скважине (в маленькой котомке из кожама было двойное дно), потом заполняла собою жмуший, тепленький коридор. В ней бултыхалось так много слов, что давилась в спешке: восклицала, смеялась, дивилась хамству и наглеце.

В школе сложилось непросто. Лариса Абрамовна шла до конца, с напором: задавала сверх меры, тянула слабых, плевалась цитатами, оставляла на перемену. Каждый класс был ее одичалым и глупым детищем. Каждый класс мечтал от нее избавиться.

С выпускными пыталась договориться, но озверела и завелась. Параллель-то случилась обманчивой, злой, болотистой: с азартом сунешься и провалишься почему зря. Параллель в выражениях не стеснялась.

Говорили, что им не по нраву зазубривать тексты вязкие; не по нраву скачки от поэзии к нудной прозе; не по нраву примеры из прошлых кондовых лет.

Пародировали походку (едва заметную хромоту), тонкий голос на грани крика, манеру вздергивать подбородок, когда задумалась.

Ухмылялись, что в «Б» существует ее Марина; сносная, отстраненная, никакая. Теревит узкий ворот, когда волнуется. Потными пальцами враз растирает строчки. Выкает ей и жметя к доске исписанной. Тарабанит по памяти внеурочное. Запинается, сглатывает, сникает. Подсадная утка, темная лошадка? Кто же будет с такой водиться.

(Из дневника Марины Бахметьевой)
21 сентября

Я знаю, как буквы превращаются в заклинание. Работает очень просто: повторяешь имя до взблева, до немоты, как будто оно — единственное доступное слово, которое значит примерно все.

Р. появился здесь совсем недавно — некоторые еще не запомнили, как его зовут.

Днем видела его на баскетбольной площадке. Р. не взял форму и тянулся к корзине прямо в сером плечистом пиджаке. Солнце лупило ему в прищур. Ребята звали в шутку побросать: сделала вид, что повторяю параграф. А в голове пульсирует. Донельзя примитивный сюжет, скучно даже писать об этом.

* * *

Марина не помнит, когда все кончилось.

Кажется, грязный детсад напротив обсыпало белой, душистой крошкой; весна приближалась к развязке — Ларисе Абрамовне не хватало воздуха. Температуру сбивала — в строю была хриплой, очечневшей. Сияясь дышать животом (научили в хоре), выдувала речь тающую, прерывистую: казалось, что «А» ловил реплики на лету.

Обычно всегда проходило, и нынче нужно: пусть механизм по традиции смеет немощь, заставит ее проглотить комок. Заскорузлый, студеный шар, царапавший взволнованное горло. Но дни сминались, и в зеркале плыло то же: липкая челка на белом лбу, круглое тело колышется в жаркой кофте, в корку журналы вцепились руки.

До последних экзаменов стоило удержаться.

В палате смотреть не хотелось. Уж лучше выслушивать гул из распахнутого квадрата, копошиться в стерильном быте, поспевать за сутулой спиной в халате, уповать на невнятные перспективы. Лариса Абрамовна тщиалась не выпадать и домашних терзала долго.

Ей не терпелось вместить задачи, ради которых одышка и маета, но в усталую голову лезла дурь, каленая и рябая. Глубокая, черная прорва во влажной куще. Ползти, прижимаясь к журчащей почве, и щупать рукой: еще нет? еще нет? еще нет?

* * *

Марине даны эта ночь и ближайшее, краткое утро. Марина собирается на вокзал.

Сперва ей следует обернуться, насторожиться. Начать с круговерти вещей заветных, неслышно вы-

шагивая по кухне. Начать с дареного, покоцанного сервиза. Начать с неприступных, пузатых сахарниц, бледных блюдец и ложек погнутых. Прилаживать их к подвесному шкафу; избавлять закутки от слоистой пыли. Рыскать повсюду в поисках беспорядка. Возвращать всякой утвари нынешнее пристанище.

Марине известно: как только она уедет, отец прикоснется ко всем вещам. Ни одной не упустит.

* * *

(Из дневника Марины Бахметьевой)

17 октября

Вчера на алгебре обронули: мол, у Бахметьевой светлая голова, заслуженная четверка, берите пример. Вместо облегчения — ничего. Мертвость. Какой-то не мой месяц.

А вокруг все взвинченные.

У папы день рождения. Мы расстелили кружевные салфетки, мама достала фужеры. Когда он выпьет, то вспоминает главное. Завод и первую «Зарю». Рисуетя и одергивает парадную жилетку. Мы разговариваем только по праздникам.

* * *

На заре девяностых Бахметьев сменил цеховой простор на укромную, выхолощенную будку. Часы напролет наблюдал за прохожими в кукольное окно, машинально катая запчасти к застывшим ходикам, пальцами глядя прохладу платины. Работой Бахметьева шибко не напрягали. Бывало, к нему заходили о чем-то потолковать; приглашали в пивную, убитые после смены, и приятельски хлопали по плечу. Бахметьев весь ежился, подбирался: говорить он привык конкретно, по существу, а размазанный, свойский треп приводил его к суетности, волнению. Время сулило другое, и было боязно. Бахметьев хотел переждать.

С тех пор, как они вдвоем, в квартире менять нельзя: только свидетельство и уборка. Бахметьев всегда сотрясался над хлипкой памятью, а теперь, когда дни покатались так быстро-быстро, он и вовсе не спускал с нее глаз. Спальня его обросла коробками с антресолей: пусть бы любая мелочь (проводок, шестеренка, безель, кусочек пленки) стала доступной и осязаемой. У стола, облепленного квитанциями, возвышался запруженный, бурый шкаф — главное доказательство прежней жизни. Марина не лезла к полкам без лишней надобности: очень уж хрупкой и неустойчивой была экспозиция за стеклом. Раскидистые собрания сочинений клонились к стрекочущим циферблатам; огрызки свечей вытесняли полупустые

коробки спичек, приторные открытки — похожие, на супленные лица в широких рамках. Марина их никогда не знала.

* * *

Сквозь дверную щель попадает топлёный свет.

— Ну? Чего стоишь как засватанная? — Бахметьев сосредоточился на газете.

— Мало ли, думала, ты уже спишь. Я там все убрала, отмыла. В холодильнике котлеты, суп остался еще, сыр нарезанный в масленке, кефир на нижней полке...

— В Москву опять, что ли?

— Да, я туда и обратно. На неделю всего. — Марина робко глядит на его прозрачные, вихрастые волосы.

— Ну, за казенный-то счет чего бы и не скататься.

— Тебе подровняться бы, сходи, может, к тете Свете, она в «Доме быта» теперь работает.

— Разберусь уж как-нибудь... — Бахметьев торопливо зевнул. — Ты вот дверь когда закрывать будешь, щелчка дождись, а то уходишь вечно, а она нараспашку потом от сквозняка. И окна зашторь — голову ломит, сил нет.

Марина кивает и тянет за кончик растрепанный жгут-мишуру. На полках протертых мягко ложится пыль.

Потом, когда выволочет сизое форменное пальто и тяжелую меховую шапку, будет долго возиться с застежкой, ползучей молнией: руки обвисли, пальцы деревенеют. То ли от крепких морозов, то ли от тишины, набрякшей за первые сутки года, любое движение требовало уговариваний. Тело влекло к бархатистой тахте; опереться на твердь и осесть, как другие, на нужном месте. Но кучные вещи теснили и напирали, а цифры как будто глазели в большом кругу — оставаться нельзя; ей стоит собраться наскоро. И Марина отправляется налегке.

В прихожей раздался хлопок, заелозил ветер по складкам тюля. Бахметьев знает: сейчас остается один.

* * *

Скудный район замучила канитель — под утро гвалт наконец затих. Глаза скользят по зябнувшей земле: ничего не должно возникнуть в такую рань, только прелюдия перед чем-то. Марине приятно прожить промежуток между: совпасть с безъязыкими, угольными ветвями; с тонкими, запорошенными тротуарами; с пустотелой, поблескивающей школой, в которой текла ее неприкасаемая жизнь. Приятно ковылять до остановки, зная, что по пути ей никто не встретится — разве что свора собак, молчаливых, тощих, будет виться у темных стен. Страшно? Ничуть. Классе в седьмом к ней пристала дворняга в пятнах, куснула

ее за колено от переизбытка чувств. Марина дернулась, заорала; сорвала репье и как следует залепила по влажной шкуре. Шавки ее не пугали — в округе были другие поводы.

* * *

(Из дневника Марины Бахметьевой)

10 ноября

Вчера случилось кое-что странное. Я шла мимо «Детского мира», была как будто не в себе. Голова бездумная, в ушах звенело. За мной увязалась молоденькая цыганка, сюжет классический: дай твою ручку, погадаю на короля, на большую твою любовь... Не отвечаю. Она идет следом, и в тихом переулке только мы. В конце концов, роюсь в сумке и даю ей немного мелочи. Лишь бы отстала. Что это — моя наивность или уже гипноз? В следующий миг я точно была в отключке: улица закачалась, полыхнуло цветом, и деревья нависли над нами большими пятнами. Я смиренно смотрела, как она достает сто рублей из кошелька и делает из них конвертик... Дунула на ладонь — деньги исчезли. Стояла как зритель, замороженная и пустая. Поплелась на остановку — ни мыслей, ничего. Все отшибло. Только руки тряслись. И на следующий день тоже.

Она меня напугала до смерти. А может, это и была сама смерть? И ее холщовый, раздутый баул полнился не безделушками и тряпьем, а иными дарами, мягкими и студеными. Как снег.

* * *

Взобравшись в автобус, Марина добирается до наушников и сжимает «плей»: заиграло старье, за окном началось кино. Деревья и стройку повело куда-то вбок, замедлились фары в синюшных сумерках — под колесами мнется месиво, и водитель не торопится до конечной. Город в гирляндах — прямая с несколькими отметинами: в общем-то, ничего особенного, только бесплотные воспоминания Марины. Только сквозные сны. Ей всегда снится одно и то же.

Скажем, вот горьковский парк. Кружение в белой ротонде под теплым небом. Мама в перчатках протягивает рогалик: приторный привкус смыкает губы, сладкое крошится на асфальт.

Или вот галерея с высоким шпилем. За ней растянулся волнистый берег, где после прогулки садилась и выдыхала: лопнувшая мозоль.

Или вот этот кирпичный дом, прижавшийся к пышной церкви. Здесь у Марины случались встречи: в который раз проезжая мимо, привычно глядит на балкон с обветшалой рамой. Когда пригласил впервые, Марина отнекивалась, тянула. Машина сигнали-

ла ей внизу, но отец занемог — пришлось спускаться и объяснять. Потом он явился еще, и ливень колошматил по лобовому; одиночные, слабые фразы сбивала музыка, и разговора не получалось. Потом оставалась на ночь. После касаний смутных спала неровно; чужое дыхание словно вникало в мысли, и все противилось забытью. Как только светало, они подымались и второпях возвращали квартире исходный вид. Чье-то присутствие было заметно только по россыпи ржавых клякс — перед уходом поил ее крепким чаем. Однажды прождал чуть дольше и позже не беспокоил; только раз позвонил из командировки, сослался на занятость и усталость. Странное дело: годы спустя авто представляется ей легко, а вот лицо как будто размыло, заволокло; любой бы мог оказаться им.

Вот и вокзал. Зарделся дрожащий воздух. Кто-то уже оклемался и трется у забегаловок; путается в знакомствах, рыщет по площади в поисках нужной суммы. Кто-то готовится ехать и отмечать; продолжать зимовье. На ступеньках расселся усач в тулупе — неуклюже насвистывает мотивчик. И Марине вдруг слышится музыка ранних лет: там, в лабиринте рынка, стоял киоск, из него фонило на всю округу, и створки были увешаны гроздьями новых дисков. Кассеты тоже еще водились. Купишь себе наугад, насовсем заучиваешь — только и делаешь, что отматываешь к началу.

* * *

(Из дневника Марины Бахметьевой)

18 декабря

Одноклассники курят за магазином. Я опаздывала, и пришлось срезать. Получается, что застучала. Все сразу умолкли и уставились на меня. И Р. стоит в сторонке — вроде как за компанию. Я ускорила шаг и перебежала на красный. Теперь наверняка думают, что я сообщила куда следует. А место не секрет, о нем все знают давным-давно.

На перемене ко мне подошла Рябинкина и попросила не выдавать. И на прошлой неделе так тоже было. Я как устройство, которое следует обезвредить: раз, другой — и можно расслабиться.

Неужели Р. — то же, что и они?

Наплевать. Проживу этот год и больше никого из них не увижу.

* * *

Мерцают на табло короткие слова — искомый состав давно на путях кемарит, а значит, осталось не так уж долго. Где-то поблизости ходит ее напарница — юркая, красноротая Людка, с которой они обучались вместе. На курсы пришла по наитию, вроде как на

безрыбье: с институтом не получилось, а больше и не пыталась; парфюмерный отдел, где работала около года, легко прикрыли, а смешную отцовскую пенсию они проедали тут же. Искала варианты — пестрели о том же самом (сбывать кому-то что-то в закутке), а в РЖД обещали иное, разное. Поезд казался Марине сплошным убежищем, и говорливой коллеге вдруг было дело.

У Людки всегда имелся в запасе казус, очередная затаенная история, в которой кто-то дал маху и чуть не умер: от смеха, от страха ли? В ее смены случалось все, но Людка любила азарт и играла честно: пей, говорит, сколько влезет, но чтобы тихо, а потушим свет — полезай на полку. Иногда напрягали и перебарщивали; Людка включалась мгновенно и, без устали пикируя языком, приводила зачинщиков к миру. Ей, как обычно, везло.

— Слышишь, Маринка, ты расслабься вообще: эти, праздничные, они вязкие такие... Продрыхнут всю дорогу, ты о них и не вспомнишь, зуб даю. — Людка глотнула из сморщенного стакана. — Пирожок не хочешь? Меня так собрали основательно, будто мы на месяц отправляемся, честное слово. Я тебе говорила, что у наших-то в ночь на тридцать первое было, нет?..

Людке можно не отвечать. Главное — поспевать за скорыми новостями, дать ей насытиться случаем, захлебнуться. И ждать, пока она вынырнет под конец.

— Видишь вон того низкого у окна? Это начальник недавний, прыгает тут все утро, как канарейка. Янку вон успел до слез довести. Ну она тоже хороша, у нее что ни смена, то косяки сплошные...

Марина надкусила горячий бок и обернулась. Кажется, жизнь началась, и к утробе чужого вагона тянулись люди; может, и ей пора обратиться внутрь.

* * *

Едва отдалились (радио даже не смолкло, все знала песню), пахло рыбой, оранжевой кожурой: обживают уют по привычной схеме. Ни продукция к чаю, ни сувениры, ни лотерея были еще не к месту; сейчас приготовят постель и сбегут, насытившись, в никуда.

Застучало неспешно, и люди поймали ритм. Марина глядела на лица, их было много (смуглянка с косым рубцом на щеке; детина в тельняшке, сжимающий телефон; кудрявая девушка в свитере с чьей-то фамилией во всю спину; пожилые супруги, похожие как две капли, в конце вагона...). Завтра она их забудет, как только выйдут.

В соседнем отсеке сидели двое: рыхловатая девушка с пышной челкой и парень в поношенной серой кофте. Его острые плечи вздрагивали от смеха — слушал внимательно и кивал.

— На прошлой-то игре прям заруба была! Жалко, что тебя подкосило. С тобой-то, может, и дотянули бы. — Лена поворошила в пакете с пузатым снеговиком. — Но, в общем-то, фиг с ней, ничего. Главное, чтобы сейчас на чемпе фортануло.

— А Рыкалов и К завтра будут, не знаешь? Хорошо бы успеть потренироваться. Вон в чате вопросы с предыдущего выезда скинули, можем размяться, все равно заняться больше нечем. — Олег задумчиво тыкает по дисплею.

Головы склонились над мелким шрифтом. Лене мешают пушистые пряди, и она отдувается, пунцует.

— Так-с. Ну смотри. Вот этот блок с цитатами я прям знаю, вот ночью меня разбуди, я тебе все отвечу, — горячится, листает вниз. — Давай лучше вот это: Древняя Греция, всякие факты исторические... Это прям по твоей части, стопудово что-то подобное будет.

— Ну это уж ты загнула. — Олег поправил дужку очков. — Я с этими древностями как раз и срезался тогда.

— Да нет, правда, даже Рыкалов говорит, что ты в истории мастак. Сколько ты раз вытаскивал... В Минске-то помнишь? Еще бы чуть-чуть, и нас бы размазали в нулину.

Смеются.

— Слушай, ну ты тоже не промах. На осеннем турнире вон отмочила как. Залпом строфу мандельштамовскую! Сам капитан Рыкалов хлопал тебе стоя.

— Да уж прям! — захрустела из желтой пачки. — Он в прошлый раз, кстати, стримил всюю, ты видел? Там еще эта, из команды Лисницкого, опять была... Комментила не по делу вообще.

— Юля? Я как-то не обратил внимания даже. Что, совсем непотребщина?

— Серьезно? — Лена поглядела в упор. — Ты посмотрел эфир и у тебя не бомбануло? Нас же из-за нее и слили, в общем-то. Мы из-за нее едем именно на этот чемп, а не в Белоруссию, как год назад.

— Слушай, ну я температурил. Пропустил, наверное. Замолчали.

— Олег, а ты реально болел?

— А что? — делает вид, что роется в телефоне.

— Да так. Просто некоторые намекнули, что тебя попросили немного погрипповать. Чтобы Лисницкому очков добавили. А то у них, бедненьких, такой сезон жесткий выдался... — Лена закусила губу. — Я вообще сказала, что это бред. И что у нас такое чтиво не прокатывает. Я права?

— Права, не права... Мне реально в тот день было так себе.

— Тебе, наверное, поплохело внезапно, когда Юля лично тебе сказала?

— Слушай, Лен, мы же в итоге едем? — Олег растянул улыбку. — Кого-то вон вообще не позвали никуда. А мы в Москве играть будем, и это главное. Так что нормально все, чего ты.

— Ну да. — Лена повернулась к узорчатому стеклу. — Чего я.

* * *

(Из дневника Марины Бахметевой)

15 января

Нас посадили вместе. На английском. Я ему помогала с одним упражнением, а потом мы даже поговорили, и Р. несколько раз называл меня по имени. От него пахнет совсем не зимой. Нагретым песком у воды? Или как-то цветением на поле, когда жара. Заметила, что у него ноготь на указательном гораздо длиннее остальных. Наверняка, играет. На перемене мы вывалились в коридор и шли рядом до самой лестницы. Я старалась на него не смотреть, так горело лицо, так было жарко.

Сейчас слушала одну песню. Группы, которая у него на футболке. Когда начинается припев, мне хочется петь изо всех сил. Так громко — почти кричать. Вот бы выкричать все свое глупое сердце, в нем давно не помещается ничего.

* * *

Стоянку пора прекращать. Закат жирным слоем ложится на кировские хрущевки, перрон стал видимым и прозрачным: вошли и вышли. Все, кто хотели догнаться пенным, вернулись холодными на свои места. Сейчас поезд тронется и — хлебнут. Впрочем, Марина не волновалась: этим, казалось, знакома мера, и сон занимает их больше, чем остальное.

К ее вагону бежали трое; коренастый в дубленке махал рукой, другой, рыжеватый, тащил за собой чехол. Того, что в середине, вынудили бежать: ноги его волочились по льду платформы, и лицо в капюшоне качалось в такт. Из куцей ветровки достали примятый паспорт: Одинцов Тимофей Сергеевич. Взрослый, гораздо старше.

— Хозяйка, принимай пассажира. Сама понимаешь, Новый год, то-се... — Коренастый дышал как большая рыба. — Засиделись мы, в общем. А он того... вырубил. Ну, не бросать же пацана, билет-то нормально стоит. Мы его на полку положим, он до Москвы и проспится. Проблем не будет никаких.

— Пьяных нельзя. Он лыка не вяжет, куда я его? Нельзя.

— Ну будь ты человеком, помоги мужику! С кем не бывает... Ну перебрал, что его, на вокзале теперь бросать? — На Марину крепко повеяло спиртом и чем-то

сладким. — У него вон концерт завтра! Гриша, скажи!!.. И дай гитару его сюда. Ну что, хозяйка? Возьми бедолагу, а? Все-таки праздник, а?

Надо было решать; если б не Людка, мелькавшая за спиной, средний бы так и остался здесь, в этом остывшем, укромном городе. Еле втащили, хотя показались щуплым; мешковатые, мокрые вещи как будто его глотали, и Тимофей барахтался в них, терялся. Наконец, пришли — боковое нижнее. Он прощупал новую, незастеленную постель и замычал сквозь улыбку бесвязную ерунду. Провожатые наскоро попрощались, заверив Марину веселым шепотом: в такие, мол, дни, по-другому и быть не может; человека в кои-то веки в столице (!) ждут, и она, Марина, спасла его от конфуза...

Хорошо бы.

Вагон покатился, настигла неясная слабость — словно сдала экзамен, но нет оценок. Снега за плотным окном устилали путь, и всякий был убаюкан в удушливой, накренившейся колыбели. Стоило тени нахлынуть на влажный лоб, как лицо колыхалось и линии ускользали: Тимофей был уже другим. В отсеке напротив дремали несколько. В скрюченном пластике трепыхалась жидкость; растягивают удовольствие? Когда очнутся, увидят прибывшего, и приметы его станут поводом для базара. Клокастые волосы в серебре, рубашка цвета поспевшей вишни, гитара в разодранной оболочке — те, кому заступать на вахту, вряд ли удержатся от вопросов.

* * *

Молодцеватый парень в олимпийке вертелся перед молодняком. Компания отчаянно скучала, и он вызвался устроить им представление, вспомнить все. Впиваясь в ржавую мякоть яблока, он сыпал байками и паузы не допускал.

— Вот ви говорите, що я ничего не розумію. А собственно хто зараз розуміє? Батя мой говорив, що усе що завгодно може существовать. Якщо про щось говорять, значить єсть на то причина. Ну ось Атлантида, например. Ось хто може доказать, що не було єе никогда? Та никто. А Платон о ней писав. И що, он брехав, по-вашому? Я про эту Атлантиду усе детство читав. Я хотив в ней жити. В Москве мени не подобалося, погано було, ми тоди переїхали тильки. Усе навколо були чужие. И в школи поглядали странно. Родители на роботі без кінця. И я кожен вечір як би молився, шептал, щоб мене в эту страну бирюзову забрали и там залишили. Я даже на новий год замість всього пожелал, щоб хоть якась єе побачити. Ага, получил я под ялинкою зеленой в той год аквариум грандіозний. От бати моего. Логика, знаєте, яка була? Єе ж затопило як би. Ну ось и получай, синопчку, руїни под водою. Смишно, так? Ну, обиды

не було, он ж як краше хотив. Зате с этими рыбками возився потом, звик до них. А недавно сон такой на-
снився, будто идем ми с батею до великой води, и он
радуется, як дитина; тянет мене, смеется. Я его таким
уже бачив один раз, коли сестра народилася. Так ось.
Ми доходим, дивимосся в воду, а видображення не
наши. И мени чомусь не страшно! Я подумав, може,
я тоже помер? И тут, в этой стране, ось так прийнято,
що раз — и метаморфози. Я бате сказав во сне, щоб
он не боявся тоже. А он отвечает: «Я, синопка, давно
ничого не боюся. Крим одного! Що в наступний раз
ти мене не узнаешь». И сон скинчився.

* * *

(Из дневника Марины Бахметевой)
11 февраля

*Мама нашла стихи. Видимо, черновик случайно вы-
пал из тетради, а я не заметила. Она всегда заходит в
комнату без стука, так что ей ничего не стоило взять
в руки мои тексты. Весь день глядит на меня с улыбкой.
Мол, что еще за секреты. Хочу провалиться — там же
про Р.; ума хватило — без посвящений. Но догадаться
будет несложно. Для учителя — плевое дело. Не удив-
люсь, если уже завтра она соберет на него целое до-
сье. А вечером скажет, разливая чай, что он — ничего
особенного...*

*Я прячу дневник в коробку из-под обуви. А коробку
завдвигаю под кровать. Что можно делать без вмеша-
тельства? Только спать и видеть стыдные, ослепи-
тельные картинки.*

* * *

Пульс Тимофея забился как мячик, и стало дур-
но. В полутьме вагона мешались звуки — ни слыш-
шать, ни разглядеть. Он вспомнил, как в зал ожидания
прибыл загодя, как познакомился с теми двумя, не с
Вятки, как не сумел соскочить с беседы. Все поздрав-
ляли и продолжали, ведь было на что гулять, подли-
вать и чокаться; в новогоднюю ночь свезло. Потрогал
взопревшей ладонью карман внутри: оставалось на
сутки-другие, и это все. Вроде должен перемогнуться,
а как потом? Заплатят авансом? Не факт. Еще не сыг-
рал, не доехал даже; может, сию минуту он сгинет от
страшной мути, от бульканья в кислом горле, от гром-
ких, палящих возгласов.

— Алик, ты не отмалчивайся, отвечать-то придет-
ся все равно. — Лысый в растянутой майке копался
в белесом мясе. — Ты что, не хочешь продлить себе
жизнь? Или как? Отвечай, Алик.

Алик лежал наверху, круглощекий, смуглый, и
усиленно притворялся: его здесь нет. Кто-то другой

должен был отвечать и играть в чехарду, спасаясь.
Кто-то другой должен был увораживать, вертеться:
у Алика не было сил даже на оправдания.

— Вот если б к моей жене кто-нибудь так по-
лез... Я бы ему... Ты сам знаешь, что устроил бы. — Лы-
сый хрустнул куриной костью. — Ты пойми, Алик, это
же враг твой. Если ты первый позвонил своему врагу,
значит, ты преклонил перед ним колено. Есть друг,
есть враг, есть такой, как ты... Виталя, скажи?

С другой нижней полки послышался мерный,
тренькающий смехок. Долговязый, щетинистый па-
рень в кепке глядел подхалимисто и довольно; кореш
его, очевидно, на то рассчитывал.

— Ну так что, Алик? Смотри на меня, когда я тебе
говорю.

Круглощекий заерзал и что-то выдохнул.

— Давай, может, это закончим, я ведь тебе объяс-
нял уже.

— Закончим мы, только если ты в окно выскочишь...

Алик прижал свое тело к колючему одеялу. В гру-
дине екнуло: все-таки напугал. И если б не стон с бо-
ковушки, когда б задышал сначала?

* * *

— Что, братуха, погано тебе? — Виталя пытливо
вытянулся вперед.

Новичка бил озноб, и глаза блестели, неуспоко-
енные.

— Перебрал поди? — ухмыльнулся Лысый.

Тимофей запыхтел, рыская в поисках воздуха:
кожа горела, хотелось охолонуться; унять колотун,
совладать с движением. Курткой укрыл непослушные
ноги — дрожью ошпарило плечи, кадык, виски.

— Знатно его корежит... Может, позвать кого? Ме-
чется как уж на сковородке. Откинется еще.

— Ты говорить, что ли, разучился, братан? — Вита-
ля резко хлопнул по боковушке.

Пришлось включиться.

— Да больно жарко здесь. — Тимофей облизнулся
и судорожно сглотнул. — Хотя похмелиться все-таки
надо. Вчера ухайдакался.

— В первый раз накирлялся, что ли?

— В последний.

Раздался сухой, приглушенный смех.

— А вы, мужики, откуда будете?

— Сели в Перми.

— До Москвы тоже?

— Ну. Играешь? — Лысый мотнул головой в сторо-
ну гитары.

Кивок.

Теперь угощали из-под полы, пришепетывая о
прошлом и всяких его последствиях; Тимофею лег-
чало, и мысль наперед показалась блажью — сейчас

было главным, и все увивалось за кротким, сквозным аккордом, даже похабщина, даже понты и гогот.

Потом повторил мелодию раз-другой, и пальцы были как заведенные. Ему заказали какую-то песню, но внутри разливалось свое, неизбывное, и не слышал. Ему заказали снова, и вдруг очнулся: Лысый оперся на стол и коснулся грифа.

— Ты в себя-то приди, э! — Голос вихлял и разил паленкой.

— Песню сыграй, братан, — прошелестел Виталья. — Попросили же тебя, за одним столом с нами сидишь...

— Мужики, давайте в другой раз. А то я блатняк как-то не очень.

— Ты, новичок, кажись, не въезжаешь. — Лысый буравил глазами хмарными. — Мы тебя уважили? Опохмелиться дали. А ты в ответ беспредел устроил... Короче, так. Или исполнишь, или мы выйдем сейчас с тобой, и я пояснять по-другому буду.

Сговориться не вышло; поезд со скрипом дернул-ся, и гомон сменился коротким вскриком. Гитару свалили на пол, а глаз нестерпимо жгло: над бровью копились багряные, теплые капли. Лысый хотел еще, но вагон всполошился; стычка была некстати.

* * *

*(Из дневника Марины Бахметьевой)
9 марта*

Мама помешивала в кастрюле и вспоминала Сталина. Предлагала взять книжку какого-то историка (фамилию не помню) — увесистый кирпич с верхней полки, на обложке — чернота. Мол, одолею этот талмуд и покорю Петренко. Блесну к концу четверти, так сказать. И ей не придется больше краснеть в школьных «кулуарах»...

Честно говоря, у меня к концу четверти только одна забота. Вернее, две. И обе касаются Р.

Я обещала его тянуть. Иногда он задает какие-то вопросы — по спряжениям, по временам — и не отводит взгляд. Но потом — ничего. Он видит меня только на уроке.

Англичанка сказала, что если Р. постареется — непременно поступит туда, куда захочет. Читай: далеко отсюда.

* * *

Марина различила не сразу; в полусне померещил-ся следующий день, но звали громко, и возвратилась. Здесь, наяву, в цветистом халате стояла женщина: ей, Марине, срочно к последним полкам. В животе подскочило и жаром обволокло. Это тот, о котором про-сили, не протрезвел? Это те, кто напротив, что-то не

поделили? Вызвать охрану? Еще кого-то? На станции высади — дальше продолжим ровно. Надо бы Людку, но смена ее дальше, и теперь хлопотать одной. Надо, чтобы закончилось и забылось.

Вокруг Тимофея толпились и лопотали. Види-мо, было быстро, но ощутимо — пол обдало чем-то липким, простыню окропило темным. Кировский прижимал к голове салфетку, а тот, что в кепке, пы-тался связать слова: все улажено, мол, сейчас ляжем без разговоров, правда, уже нормально, не повторит-ся. Отвечала на автомате — пусть бы оно само. Лысый забился в угол, тяжелый, нервный. Его развезло, но кулак был еще живой: как правило, бил до конца, и звериное корчило, распирало, едва ли сдерживалось.

Когда появились в форме, нашло еще раз: дрогнул, расслышав голос, и замахнулся. Рывкнули и скрути-ли, а Тимофея заставили увести — и Марина тащила его в купе, чтоб не случилось еще, страшнее (с доса-ды желала иной, непростой развязки). Затем усадила и как-то обмякла, посторонилась: слишком большая скорость. Пассажир молчал, беспокоя рукой соленый, распухший лоб; он знал, что бывает после. Однажды сняли без предисловий: поселок, ночь, ни копейки на новый путь. Тогда переждал, на попутках доехал резво; но сумеет ли нынче унять бессилие и кручину? Переиграть, как раньше, когда не гас.

Марина выбралась в коридор. Ее известили, что, в принципе, уже все («С начальником порешали, лысого увели»), а что делать с этим, мордованным, — под во-просом. Другие, казалось, вернулись к обычным рит-мам: хлебали лапшу напоследок, звонили, пока ловило, шипели бутылкой и прятались с головою. Обернулась назад («Ну так что, Марин, оставляем его или как»): он наслонявил палец и усердно тер по манжете, пытаюсь смывать. Кровь так сразу не исчезает; Марина дала ответ.

* * *

Теперь вдвоем; только бы не столкнуться. Предло-жить ему лечь обратно и успокоиться? Пачку влаж-ных салфеток, пропитанных антисептиком? Глядит поверх засаленной макушки и хочет спросить (болит ли и где болит), но речь как бы мучается, заминается с непривычки.

— Тимофей, — тянет руку и дожидается. — Как зовут мою, скажем так, спасительницу?

— Марина. Вы себя чувствуете как?

— Как младенец, — он тронул ранку и приосанил-ся. — Это не стоит внимания, честное слово. А вот то, что боевую подружку мою сломили... Со мной это редко случается, вы не думайте. Обычно-то я сухим выхожу, а сегодня что-то обнесло. Что ж, бывает. Вы не воз-ражаете, я за гитарой схожу? Как-то стремно мне, что она без присмотра там.

В кружке позвякивает вода; он возвращается, отпивает бужога кипятка.

— Извиняюсь, правда, я вам, наверное, вечер-то подпортил. И так в праздники работаете, а тут еще такое...

— Да какие уже праздники, — сдавила зевок и покосилась на телефон. — Вот куранты пробили, и все, считайте, новая смена.

— Муж-то нормально отпускает? Долго ведь путешествуете.

Опьянение будто еще плескалось, и тон был свойский, ее пугающий. Стоило вывести и закончить, но вместо ответила про другое.

— Я с отцом живу.

Напряжение спутало сетью: не молвить, не шевельнуться. Сегодня ему не звонила; должна была вечером, но случился этот, мгновенная драка и все остальное. И вот уже поздно: в непроглядной квартире чернеют прежние, замершие вещи, и отец давно убаюкал каждую, как дитя, и каждую долго вертел в руках, ища неполадку, ища секрет.

— Понял. А чего так? — рот прячет шустрый голос. — Болеет?

— Когда уезжаю, да. — Помолчав, добавляет: — А по-другому как-то не получается.

— Устаете, небось? Это ж как еще одна работа, по сути-то.

— Сложно сказать... Вроде уже привыкла, не замечаю. Все как у всех.

— Да вы не думайте, Марин, я ж понимаю, — спохватывается и перебирает струны, ища подходящий сейчас зачин. — У меня тоже было, но как-то наоборот, что ли. Я ж считал, что свобода — она там, где нет всей этой опеки, всего этого контроля. Жил-то я с матерью вдвоем в крохотной комнатухе, лабал постоянно, мотался везде... Она, ясное дело, не молодеда, то одна хворь, то другая. Ну и вот: позвали как-то раз ребята знакомые из Питера. Приезжай, мол, сыграем; зрители, сцена — все будет. Ясное дело, я рванул и как-то загулял. На стакан присел, телефон потерял... А она меня попросила сильно-то не задерживаться. Она тогда уже лежачая была. Я кое-как возвращаюсь — а ее уж и нет. Вообще ушла одна, без никого. Вот так. — Быстро моргает и роется в рюкзаке. — У меня тут во фляжке на глоток осталось. Не возражаете?

Марина не возражает; после всего, что было, как-то не к месту ее запреты.

Поезд прибывает и дребезжит. Хватает народа на скользкой станции: кто-то покинет ночной перрон и проникнет в нагретый воздух. Марине уже все равно: это в соседнем вагоне пустотно, мало, а у нее — полная чаша, не протолкнешься. Тимофей закурил у мерцающего киоска, и ей показалось, что он расплылся, повеселел. Погода его стороной обходит: стоит, как

* * *

(Из дневника Марины Бахметевой)

13 апреля

Маму забрали вчера. Меня вызвали в коридор, и я как будто уже все знала. Р. посмотрел, а может, мне показалось.

Когда я вошла в учительскую, когда я взяла трубку, когда я услышала папин голос, то почему-то думала только о всяком быте. А что мы будем ужинать? А все эти бумажки на столе — счета? Машинка вот работает через раз; когда я уходила, там еще бултыхалось цветное белье. А мамина меховая шапка в прихожей? Еще недавно мело, и пригодилась в который раз. В детстве я в ней кривлялась перед овальным зеркалом.

Я всегда боялась врачей. Еле втолкнула себя в палату. А папа спокойный: ну так что ж, говорит, пройдет. Но мама стала такая — как будто — маленькая. Ей поставили капельницу, и она дышит как-то противоестественно громко. Но замашки все те же. Допрос с пристрастием. С порога сказала: что на тебе надето? Ты из школы такая? А когда мы ей цветы в вазу поставили, она сказала: зачем потратились, у нас что, лишние деньги?

Мне хотелось просто посидеть рядом, и даже хорошо, что она не переставала — было как раньше. Не хочет ничего слышать про больничный, хочет в школу. Говорит, здесь слишком стерильно и одинаково. Папа ушел курить, и она немного успокоилась. На прощание потрепала меня по волосам и продиктовала по пунктам про еду и все остальное. «Следи за отцом, ты же его знаешь!»

Я не хочу домой.

* * *

Кажется, нет голосов в вагоне, кроме тех, еле слышных, женских. Одна поглаживает кудлатую собачку; другая с лица стирает за слоем слой; а третья шепчет.

— Так муж-то меня и замучил в то лето, чтоб согласилась я. Все время жужжал: дескать, поплывем с тобой по реке, ягод собираем... Брусника уже пошла. А у нас, вы знаете, красота неопиcуемая в округе. Сосны с человеческий рост. Зелень буйствует, краски брызжут, грибов можно целую корзину унести. Белянки, волнушки... Всюду. Потом мучаешься, непонятно, куда девать все это добро. Ну и вот. Все-таки уговорил меня. В первый-то раз страшно было, река волновалась, да и возвращались мы затемно. К тому же лодка натруженная у нас, неуклюжая, ее еще све-

кор покупал. С горем пополам добрались. Поругались с перепугу-то. Ну да бог с ним... Там у нас на отшибе свет всегда горел: и днем, и ночью. Вот мы на него и выплыли кое-как. У меня, вы знаете, есть какая-то вера в то, что все на своем месте. Все зачем-то да нужно. И вот эта лампа негаснущая в избе — как бы доказательство для меня. Муж подтрунивал, дескать, совсем помешалась на гороскопах своих... А там, в этом доме, старуха одна жила. Выходишь, бывало, а она на проселочной дороге крапиву рвет да длинные стебли сминает у сорняков. И все бормочет себе под чего-то. Беспокойная была бабка, ее соседские дети боялись очень. И вот каждый день она совершала такой «ритуал» — и в зной, и в дождь выполняла ни свет ни заря с пустой корзинкой и брела к полям через все село. А к ночи — обратно. Я у кого ни спрошу, никто имени ее не знает. С ней покалякать пыталась — она сама не помнит, как ее звать. Только все про Степана повторяет. Свекор сказал, что Степан-то ее умер давно. А она вот все кличет изо дня в день. Сын мой к ней как-то в окно заглянул: мол, стоят на столе два стакана. Пустой и якобы нетронутый, с молоком. А она на печке лежит. Для Степана поставила, что ли? Беда. Нет, ее навещали, конечно, иногда... На гигантской черной машине кто-то приезжал, продукты, видимо, привозил. А потом перестал. Мы озаботились сразу, мол, что случилось, а в избе-то пусто уже. Забрали ее, видать. И вы знаете, как-то все стали возвращаться домой пораньше. Видать, страшно, по темноте-то.

* * *

— Вы где-то учились музыке? — Марина отряхивает воротник, и пальцы приятно ломит от холодка.

— Не, Марин, самоучка я. У дядьки моего гитара была, он мне показал пару раз аккорды, а потом уж я в одиночку осваивал, слушал разное и подбирал. Потом стал ходить на посиделки, там на девчонках легко проверить, получается у тебя или нет... — Он барабанит по изгибу и смотрит, смотрит. — А поди я сыграю? Есть у меня песня — специально для таких случаев. Визитная карточка, что ли. И вину заглядить не помешает, все-таки хлопоты лишние...

— Да бросьте вы. Спят уже все. Разбудим.

— А я тихонько, Марин. Даже не целиком.

И песня звучит навывлет, и в ней — цветы, приморская темнота и ранняя память, всполохи странной любви и большая смерть, которой не место здесь и которая здесь всегда. И Марине вдруг слышатся та весна, изнеженная и страшная; запущенный серый сад, в котором выхаживала мечту; и паточный запах комнаты, оставленный мамой перед работой.

— Нравится? Спасибо, я рад. А как я ее написал... О, это целая история. — Раскраснелся и занял собою

все. — Это лет пятнадцать назад свершилось, я тогда автостоил еще. Время было такое... И плохого, и хорошего чересчур. В общем, домчал я до Лисьей Бухты и жил там, можно сказать, дикарем. Пока вот эту песню не сочинил. Помню, иду с моря по темноте, ветрина сбивает с ног. А я под этим делом был, — щелчок по шее, — ну и хлобыстнулся! Чую, что как-то больно, присел у валунов и замер. Вроде задремал. Глаза открываю — рассвет во все небо, облака пятнистые раступились, и что-то в голове заныло так сладко, ни в какую не унималось; и стало мне, знаешь, так больно и хорошо... И ведь даже ручки с собою не было, чтобы черкнуть. На память вертел слова, вслух повторял их снова и снова. Что-то, конечно, я не донес тогда, но главное, истинное — успел.

— А потом, вы, конечно, незамеченным не остались? — съехидничать хочет, но голос окрашенный выдает.

— Веришь, Марин, мне даже делиться вначале не хотелось, вот как запали в душу и текст, и музыка эта ярая... А уж потом, когда сыграл ее в первый раз — это как взрыв был, честное слово. Для меня что-то новое в жизни началось. И дело даже не в том, что на фесты какие-то стали приглашать или что с модной рок-тусовкой познакомился. А в том, что... Ну как бы сказать. Внутри у меня прорвало, яснее стало; я думал, что будет лучше, теперь-то точно. Передо мною столько всего открылось. Лети куда хочешь, живи припеваючи... Я ведь мог бы в студии альбом по-нормальному записать. И колесить с ним по всей округе. Может, звучал бы из каждого утюга.

— И не боязно было жить вот так, одному?

— Где, в Лиське-то? Да наоборот, там, знаешь, как-то спокойнее для души. Ну бывало, конечно, по-разному, буйные-то везде встречаются, — подмигнул Тимофей. — Но ты бы справилась.

— Я? — Марина смеется, одергивает пиджак. — Да я даже плавать-то не умею. На море была один раз, да и то ребенком.

— У меня на такие вещи, Марина, глаз-алмаз. — Он посерьезнел как будто и вдруг замедлился. — В тебе абсолютно точно сидит много какой-то силы. И я более того скажу: встретись ты мне тогда, мы бы с тобой такого наворотили... Мимо нас ничего бы не проскользнуло. Показал бы тебе веселую свою жизнь. И непременно свел бы с одним приятелем. Пашка Большое Ухо его называли. Вот это человечце, вот это номера он откалывал, ты бы видела! То со скалы высоченной сиганет, то разбудит откуда-то белоснежного жеребца и всяким трюкам его обучает...

Потом говорил комично и увлекал, и сердце ее росло, расширялось, падало. Зазор между ними не уменьшался, но время считать перестала: сложно препятствовать вскапыванию былого, того, что давно в снегу.

(Из дневника Марины Бахметьевой)

26 мая

...Мне снилось, что я бегу. Бегу медленно, вязко, как бывает только во сне. Влажный асфальт усеян колючими сорняками; мои ноги цепляются за ростки, но остановиться не получается. Мне что-то нужно. И я продолжаю, хапая спертый воздух. Мир вокруг подвижен, как волчок: зелень, ржавчина, пятна стали и белой краски. Похоже, это вымерший стадион рядом с моим домом. Здесь больше никого нет. Я никогда не могла одолеть его, и ночью мне тоже не удавалось: разметки мелькали, но где же финиш? Не вижу, не вижу последней линии. И бегу.

* * *

В какой-то момент духота настигла, и слушать на-против стало невмоготу. Она отлучилась, прижалась щекой к стеклу (ледок сползал, и виднелся раздольный лес) и враз попыталась вернуть как раньше. Из крана текло еле-еле, и сбить температуру не получалось: в заляпанном зеркальце жило, торжествовало ее лицо. Изнутри вдруг полезли те рослые, недописанные стишки, которых Марина не привечала и не звала; те слова, неловкие и болючие, крупные слишком для блеклой тетрадной клетки. Были давно не впору, вертелись на языке, о чем-то напоминали. Что с ними делать теперь?

— Вот вы говорили о сочинительстве, и я вспомнила. Я вспомнила, как в школе каждый день записывала что-то перед сном, и слова как бы сами собой складывались в стихотворения. Такая рифма интуитивная. Не могла удержать в себе, и мысли лепились одна к другой. Это были, конечно, глупости, пустяки. Но они были только моими. Понимаете? Я вот упоминала про маму. Ей страшно хотелось, чтобы все вокруг было на максимуме. Поэтому я ей стихи не показывала. Но она их, конечно, нашла и начала подсказывать, править. Я ее просила: не надо. А она отправила на какой-то конкурс в Екатеринбург. И я даже что-то там заняла. Умудрилась. Она все повторяла: почему ты не радуешься? почему не радуешься? А это были уже не мои скукоженные, кривые стишки. Это были как бы ее, дополненные и правильные... Я огрызалась, что вырасту и сделаю, как хочу. Без ее вмешательства. Ну и вот. Вроде я выросла. А стихи подевались куда-то, кончились; я как бы забыла все. Я даже те, из школы, как будто выдумала. Бывало у вас такое?

Воспоминания все клубились, и они обменялись еще, еще. Прервались на какой-то убойной шутке — побежала будить, приближался огромный город. Вагон обратился к Марине, но было не в тягость, наоборот. Все разом сложилось и стало затейливой, новой музыкой, в которой поется про облако из белья, про питье, бурлящее в крупной кружке, про огни, слепящие и рябые, про поезд, который куда-то мчится. Марина не знала, что можно так слышать, собой облекать пространство: мир показался вблизи и кружился речистым, бойким; наряженным словно бы для нее.

Разобравшись с насущным, Марина торопится, сдерживает улыбку. Застает Тимофея спящим: отклонился назад и шумно, протяжно дышит. Мелодия сразу стихает (возможно, лилась отсюда) — звук туговатый, знакомый, как будто из-под воды. Марина берет пальто; дверь не сразу, но поддается.

Когда прощаются и выходят, Тимофей тоже поднимается, трет глаза: набегают слеза спросонья на темный камень. Тревожит гитару, тревожит молнию, ищет документы и телефон: слишком долго качался по рельсам и заплутал. Ожидает ведь что-то еще? А не только запекшийся тусклый снег, надоевшая песня безденежье и смятенье.

Марине нужно сказать вдогонку, без повода, вызвать на разговор; у него же концерт сегодня, разве это не стоит последних слов, последней попытки вернуть обостренный слух. Он что-то ответил (наверное, благодарность), махнул рукой и двинулся в сторону площадки; там никого не увидишь, белым-бело. Говорить через быстрое сердце не получилось; а если позвать еще раз, если его догнать?

Топчет сапогами пленку ледяную; нарочно разбивает прозрачное каблуком. Так много какой-то силы ее терзает — но это теперь, а вот-вот повернется к глухому дому, к прежнему распорядку и толкотне, и время заново утрамбуется.

Позвонить ему прямо сейчас? Потому что позднее она забудет, и схлынут с головы невыносимые картинки, слишком яркие для аккуратной, закостеневшей местности. Освободят всегдашнюю пустоту.

Цифры нажаты. Марина представляет, как скажет главное: она все еще помнит, все еще улавливает и море, простое, чуждое, и Петербург, и шорох сухих соцветий, прижатых к тексту.

Марина ждет, и звучат гудки. Длятся, длятся, не прекращаются. Поначалу пугают, врываются, предвещают; но потом привыкает, и даже приятно стало. Как будто такая музыка.